

Золотой век русской литературы

Юрий Домбровский

Болезнь. Последние годы жизни

«ИТРК»

2017

УДК 929
ББК 84-4

Домбровский Ю. А.

Болезнь. Последние годы жизни / Ю. А. Домбровский —
«ИТРК», 2017 — (Золотой век русской литературы)

ISBN 978-5-88010-447-5

Новый роман Юрия А. Домбровского «Болезнь. Последние годы жизни» – третий из серии романов «Золотой век русской литературы». Первый «Неистовый Виссарион» – о критике В. Г. Белинском, второй – «Гений» – о поэте М. Ю. Лермонтове, третий – «Болезнь» о писателе Н. В. Гоголе. Роман «Болезнь» посвящён последним годам жизни писателя и интересен не столько его физическим недугом, сколько – духовным; рассказывающим о «душевной болезни» писателя. Роман написан как по подборке архивных данных биографии Н. В. Гоголя, так и по его письмам родным, близким, друзьям и коллегам по литературному цеху и рассчитан на самый широкий круг читателей.

УДК 929

ББК 84-4

ISBN 978-5-88010-447-5

© Домбровский Ю. А., 2017

© ИТРК, 2017

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Болезнь | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 14 |

Ю. А. Домбровский

Болезнь. Последние годы жизни

© Домбровский Ю. А., 2017

© Издательство ИТРК, издание и оформление, 2017

Болезнь Последние годы жизни

*«Горьким словом моим посмеюся...»
Надпись на надгробном памятнике*



*Николай Васильевич Гоголь
1809–1852*

1

Николай Васильевич был тяжело и безнадежно болен. Смерть уже ходила где-то совсем рядом – он понимал это и, собравши остатки сил, попытался подняться с постели. Когда к нему возвращалась трезвость ума, он сразу же вспоминал о ещё не написанном завещании, которое уже не раз он составлял мысленно в своей голове. Многие, что он задумывал до болезни, так и осталось незавершённым, многое не успел он сказать, дописать, доделать. Небесная божья милость уже не раз отводила его от смерти. Иногда даже казалось, что он выздоравливал; болезнь то отпускала свои костлявые пальцы, то вновь сжимала их на его горле. Однако, чувствуя слабость сил и мысленно готовясь к путешествию к праотцам, ему хотелось оставить после себя хоть что-то значимое, веское.

Поднявшись с постели, преодолевая слабость, он прошёл к письменному бюро и стал медленно извлекать из его верхних ящиков бумаги: тонкие листы рукописей, исписанные мел-

ким почерком, последние письма, на которые ещё не успел ответить; всё, что могло ещё иметь какой-то смысл после его смерти для немногих из его окружения.

Сердце подсказывало ему, что он не сказал своего последнего слова соотечественникам. И не потому, что имел о себе высокое понятие и умение быть полезным, а потому, что никогда до сих пор не испытывал такого сильного желания быть полезным.

И ещё одно тайное желание не покидало его: перед смертью своей он чувствовал необычайную внутреннюю потребность отправиться к наступающему Великому посту в Святую землю. Путешествие своё он хотел бы совершить как добрый христианин, чтобы испросить прощения у всех, кому своими необдуманными и незрелыми поступками и сочинениями нанёс огорчение; невольно вооружил против себя и вообще произвёл какое-то неудовольствие. Просить прощения также у всех тех, с кем на долгое или короткое время случилось встретиться на дороге жизни, помня о том, что многим пришлось наносить неприятности, а иным, быть может, и умышленно.

Вообще в обхождении его с людьми довольно много было неприятного, отталкивающего. Отчасти это происходило от того, что он избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не готов ещё произвести умного и нужного слова человеку, желающему с ним встречи, а пустых и ненужных слов произносить ему не хотелось. Отчасти же, это происходило от мелочного самолюбия, свойственного людям, которые выбились в люди, считая себя в праве глядеть на других спесиво. Как бы то ни было, ему непременно нужно было испросить прощения во всех личных оскорблениях, которые ему случалось нанести кому-либо, начиная от времён детства до настоящей минуты.

Как говеющий перед исповедью, которую он готовился дать Богу, он хотел попросить прощения у своих братьев-литераторов за всякое вольное или невольное с его стороны пренебрежение или неуважение к ним; просить прощения у своего брата за обиды, которые ему причинял. Наконец, просить всех в России помолиться за него, начиная от простых людей до святителей, чья жизнь уже есть молитва. А он, если Бог даст, помолится у Гроба Господнего обо всех своих соотечественниках, не исключая из них ни единого.

Николай Васильевич осмотрелся по сторонам, нашёл взглядом стопку чистых листов бумаги, взял перо и чернила и сел за письменный стол. Мерцающий огонёк свечи осветил лист бумаги, на котором он медленно вывел: «Завещание».

Задумался ненадолго, обмакнул перо в массивную чернильницу и продолжил: «Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю», – и снова задумался: то, что легко укладывалось в голове до этого, вдруг стало зыбким и туманным. Тяжело вздохнув, он продолжил:

«I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело моё земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечётся каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, её грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба»¹.

¹ Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Статьи / Под общ. ред. СП. Машинского, Н. Л. Степанова, М. Б. Храпченко. – М.: Издательство «Художественная Литература», 1967. С. 205.

Николай Васильевич откинулся на высокую спинку стула, размял немеющие пальцы и продолжил:

«II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей непоколебимой твёрдостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он точно любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник...»².

Слабость накатывала волнами, но он, сделав небольшую передышку, продолжил:

«III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмёт на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и не удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, – то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно нужный в теперешних её обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих... Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!»³.

За тяжёлой шторой на узком окне сверкнула молния, громыхнул гром и полил проливной дождь. Николай Васильевич поёжился, прикрыл шторы плотнее и продолжил:

«IV. Завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своём сердце, как лучшее своё сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слёз, никому незримых, ещё от времён детства моего... Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор ещё считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну её и сокровенную небесную музыку этой тайны...».

Николай Васильевич отложил перо в сторону и взял со стола страницы рукописи с «Прощальной повестью» и стал перелистывать её, о чём-то сосредоточенно думая. Затем медленно поднялся со стула, взял рукопись и пошёл к камину. Языки пламени играли тенями и всполохами, отбрасывая на противоположную стену мрачную тень больного писателя. Подойдя к камину, он долго смотрел на пламя, потом неожиданно бросил рукопись в огонь. Стопка страниц тут же взялась ярким пламенем, а за окном вновь прогремел гром.

– «Прощальная повесть» уже не может явиться в свет, – произнёс он вслух. – Что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни.

Затем вернулся к письменному столу и вновь взялся за перо:

«V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: всё будет также пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнёт мною кого-либо, в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: всё, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное

² Там же. С. 206.

³ Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Статьи / Под общ. ред. СП. Машинского, Н. Л. Степанова, М. Б. Храпченко. – М.: Издательство «Художественная Литература», 1967. С. 207.

и мёртвое, писанное в болезненном и принуждённом состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а всё прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного...»⁴

«VI...», – далее Николай Васильевич принялся писать распоряжения по делам семейным, но, написав несколько строк, остановился потёр пальцем кончик носа и неожиданно перечеркнув этот пункт, вывел:

«VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без воли моей и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книготорговцам, доселе приступавшим ко мне с предложениями... С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принесся значительных доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, – труда убийственного, пожирающего годы и здоровье...», – Николай Васильевич вдруг взялся за голову обеими руками и тихо застонал: головная боль была мучительной. Она также быстро подступала, как и отступала потом. Казалось, голова лопнет вот-вот и расколется, как глиняный горшок на две половинки. Переждав, постепенно притупляющую и ослабевающую боль, он продолжил. – «Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за всё; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографией. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу... и пожелали бы мои соотечественники увидеть мой портрет, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от такого права... А ещё будет справедливей, если те, кто имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображение Господня», который по признанию даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую»⁵.

Дождь за окном, похоже, прекратился, и голову понемногу отпустило. Николай Васильевич пробежался глазами по написанному тексту. Обмакнул перо в чернильницу, вздохнул глубоко и закончил:

«Завещанье моё немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанёс упрёка на свою душу»⁶.

После того он ещё несколько раз переписывал набело завещание. Впрочем, смысл и стилистика завещания от того не менялись.

⁴ Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Статьи / Под общ. ред. СП. Машинского, Н. Л. Степанова, М. Б. Храпченко. – М.: Издательство «Художественная Литература», 1967. С. 209.

⁵ Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. Статьи / Под общ. ред. СП. Машинского, Н. Л. Степанова, М. Б. Храпченко. – М.: Издательство «Художественная Литература», 1967. С. 209.

⁶ Там же. С. 209.

2

Силы покидали писателя с каждым днём, но дух противился. Никогда ещё телесные недуги не были так изнурительны. Бывало так тяжко, такая наваливалась усталость во всём теле, что день становился не мил и едва хватало сил добраться до постели.

– Боже, где же, наконец, берег всего? – спрашивал сам себя вслух Гоголь.

В последнее время он часто разговаривал сам с собою, если не считать реплик и указаний слуге Семёну; да тот тоже разговорчивым не слыл. Оглядываясь на своё прошлое, заглядывая в себя глубже, вовнутрь, он ничего не видел. Ничего не издавала душа, кроме слёз и благодарения. И что странно: в недугах своих он находил пользу – ныне становился он таким, каким был в самом деле, лучше, чем прежде. Не будь этих недугов, он бы и не задумывался, что стал уже таким, каким следовало быть. В свежие минуты, которые дарил ему милость небесная и среди страданий приходили к нему мысли, несравненно лучше прежних, и казалось ему, что теперь, всё, что не выйдет из-под его пера, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких страданий, куда б он теперь занёсся, каким бы значительным человеком вообразил себя! И слыша ежеминутно, что жизнь его на волоске, что недуг может вдруг остановить труд его, на котором основана вся его значительность, и та польза, к которой стремится его душа, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, он будет осуждён, как последний преступник.

А в душу стучались воспоминания...

Утомлённый последними усилиями непрерывной работы и нравственными тревогами, он и перебрался тогда, почти десять лет назад, подальше от этой суматохи, под другое небо. Сначала пребывание в «прекрасном далеке» как будто укрепило и успокоило его, дало возможность завершить «Мёртвые души», но, в то же время, стало зародышем глубоких фатальных явлений. Опыт работы с этой книгой и противоречивая реакция на неё современников также, как в случае с «Ревизором», стали складываться в его больной душе в представление о его пророческом предназначении.

Сначала он перебрался из Петербурга в Германию, затем в Швейцарию, пожил немного в Париже, где познакомился и сдружился с писателем Данилевским и особенно сблизился с Александрой Осиповной Смирновой, урождённой Россети – фрейлиной двора, прекрасной собеседницей и другом Пушкину, Жуковскому, Лермонтову. Здесь же, в Париже, его застало известие о смерти Пушкина, страшно его поразившее. К тому времени Александра Осиповна уже была женой Николая Михайловича Смирнова – чиновника Министерства иностранных дел, чуть позже Калужского губернатора, а потом и Петербургского. Известие о гибели Пушкина поразило тогда её не меньше, чем Гоголя – она была глубоко оскорблена обществом, допустившим подобный позор.

– Воспоминания об Александре Сергеевиче сохранятся во мне самыми чистыми и недосягаемыми, – призналась она тогда Гоголю. Много чего я могла бы рассказать вам о Пушкине, но не стану этого делать, потому как не желаю быть предметом сплетен.

Николай Васильевич всегда вспоминал о мадам Смирновой с теплотой в сердце. После скорой смерти маленькой дочери той же весной 1837 года она уехала сперва во Флоренцию, а потом в Германию. Впоследствии у неё родились ещё трое детей, она большей частью жила в Петербурге и Париже с детьми, однако, навещала его в Ницце и Риме и всегда оставалась с ним душевно близка.

Наверное, он любил её, но любовью платонической, бескорыстной. Он видел, какое немалое влияние она оказывала на общество, и именно теперь, в его нынешнем беспорядке, в котором, с одной стороны, представлялась утомлённая гражданская образованность, а с другой – какое-то душевное охлаждение, какая-то нравственная усталость, требующая перемен. А чтобы произвести эти перемены, необходимо содействие женщины. Эта истина пронеслась

вдруг в виде какого-то тёмного предчувствия, пронеслось где-то в самых отдалённых уголках его больного мозга. Ему теперь казалось, что мужа не позволили бы себе и десятой доли произведённых ими беспорядков, если бы их жёны хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Ведь душа жены – удивительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой дороги на прямую; и наоборот душа жены может быть его злом и погубить его навеки.

Красота женщины есть тайна. Бог недаром повелел иным женщинам быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиною переворотов всемирных и заставлял делать глупости наимумнейших людей, что же было тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда смогла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть – это оружие сильное.

Вспоминая Александру Осиповну, Николай Васильевич перевоплощал её в образ абстрактной женщины, имеющей высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, свойственной только одной ей невинности, которую он не мог определить словом, но в которой так и светила вся её голубиная душа.

Да, она вышла замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой свою жену. Он никогда бы не посмел нарушить это её счастье. В душе её, казалось, всегда сияло небесное беспокойство о людях, некая ангельская тоска, среди самых развлекательных увеселений. Её робкая неопытность умиляла его: она всегда боялась соблазнов света. Её дело – приносить страждущему свою улыбку да тот голос, в котором слышится прилетевшая с небес его сестра, и не более. Ей нельзя подолгу останавливаться над одними, ей нужно было спешить к другим, потому что она повсюду была нужна...

В марте 1837 года Николай Васильевич перебрался в Рим, который чрезвычайно ему понравился. Он много гулял по городу, изучал памятники древности, картинные галереи, посещал мастерские художников, любовался народной жизнью и любил показывать Рим, *«угощать»* им приезжих русских знакомых и приятелей из России.

Но в Риме он не только гулял, но и усиленно работал: закончил редакцию «Мёртвых душ», дописал «Шинель», писал повесть «Анунциата», позже переделанную в «Рим», трагедию из жизни запорожцев, которую, впрочем, после нескольких переделок уничтожил. Последнее пребывание его за границей стало окончательным переломом в его душевном состоянии. Он жил то в Риме, то во Франкфурте, Дюссельдорфе, то в Париже, то в Ницце, то в Остенде, то в Вене, но места его пребывания за годы, проведённые за границей, лишь всё более прививали, всё сильнее развивали в нём религиозно-пророческое направление, ставшее его болезнью.

Высокое представление о своём таланте и лежащей на нём обязанности вело его к убеждению, что он творил нечто провиденциальное, нечто высшее, то, что обличало бы людские пороки. Он старался придать своему взгляду на жизнь большую широту, стремился к внутреннему совершенствованию, которое давалось только богомольем. Ему уже не раз приходилось переносить тяжёлые болезни, увеличивающие с каждым разом его религиозное настроение. В своей уединённой римской квартире он находил почву для религиозной экзальтации: принимал пророческий тон, делал наставления своим друзьям и, в конце концов, находил убеждение, что сделанное им недостойно той высокой цели, к которой он был призван.

Он и в детстве не отличался крепким здоровьем. Смерть в отрочестве его брата Ивана, безвременная кончина его отца наложили отпечаток на его состояние. Работа над продолжением «Мёртвых душ» не клеилась и он испытывал всё более мучительные сомнения, что ему удастся дописать произведение до конца. Тогда-то он и сжёг свою «Прощальную повесть». Тогда же он и написал завещание. Тогда же он задумывал уйти в монастырь и стать монахом. Но после ушёл от этой мысли и в порыве просветления от захватившей его всего болезни, задум-

мал вдруг написать новую книгу – просветлённую и очищенную. Ему казалось, что он вдруг понял, как надо писать, чтобы *«устрешить всё общество к прекрасному»*. Ему казалось, что он, наконец-то, понял, что такое *истинное Слово*. Он решил всё писанное им в последние годы собрать в единую книгу в духе особого настроения и назвать её «Выбранные места из переписки с друзьями» и поручить издать эту книгу Плетнёву.

Слово – вот что главное! Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своём поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом – мало ли на что можно сослаться. Писателю опасно шутить со Словом. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово, пусть уж лучше раздаются гнилые слова о гнилых предметах. Недавно долгое молчание налагали на тех людей, которые владели даром слова. «Наложи дверь и замки на уста свои, – говорил Иисус Серах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые бы взвешивали твоё слово, и выковать надёжную узду, которая бы держала твои уста». Не можешь не писать – пиши, можешь не писать – не пиши и никогда не бери в руки пера.

Большая часть задуманной им книги должна была, по идее Николая Васильевича, состоять из писем, составляющих его религиозное настроение, но это не нашло отклика среди его друзей. Более того, своим тоном пророчества и назидания он оттолкнул от себя часть своих приятелей и знакомых. Он всё больше лишался сна, его болезненные припадки усиливались.

При последней встрече со Смирновой в Риме, она заметила его удручённый и болезненный вид и прямо спросила его:

– Николай Васильевич, дорогой, что гложет вас, скажите? Я вижу, как вы мучаетесь, как страдаете, мне просто больно смотреть на вас.

– Всё, что для иных людей трудно переносить, я уже переношу легко с божьей помощью, – грустно ответил Гоголь.

– Я же вижу, как вам тяжело, поделитесь – вам станет легче, – она положила свою ладонь на его руку.

– Просто я так и не научился переносить боль от цензурного ножа, который бесчувственно отрезает целые страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания, – признался он тогда. – Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как перед глазами зарезали бы любимое дитя – так тяжело мне бывает это цензурное убийство.

Мысли его тогда целиком были поглощены судьбою «Переписки». А из книги было так много урезано цензорами такого, чему он придавал столь важное значение. «Переписку» почти повсюду встретили с негодованием. Правительству она показалась слишком дерзкой и самонадеянной; прежние почитатели посчитали её изуверской, а автора чуть ли не лизоблюдом; даже преданные друзья называли её крайне неудачной и плутовской. Высшая степень негодования, возбуждённого «Выбранными местами» Белинского, выразилась тогда известным письмом из Зальцбрунна.

Гоголь тогда мучительно переживал провал своей книги и даже каялся, что впал в фальшивый тон, зарпортовался, что в нём ещё куча пороков, самонадеянности, честолюбия. Ему казалось, что все от него отвернулись. Близкий к отчаянью, он написал своему другу Аксакову:

«...Ради самого Христа, войдите в моё положение, почувствуйте трудность мою и скажите мне сами, как мне быть, как, о чём и что я могу теперь писать? Можно ещё вести брань с самыми ожесточёнными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут всё изнеможет, что есть в тебе. Друг мой, я весь изнемог...»⁷.

⁷ Гоголь Н. В. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Избранные письма / Под общ. ред. СП. Машинского, Н. Л. Степе-

Теперь ему казалось, что в мире ни на кого нельзя возлагать надежды и у него какая-то особенная дорога – путь, не похожий на путь других людей. Да и здоровье его, будто начавшее поправляться, снова расклеилось: в тёплой Италии, хотя был и январь на дворе, он замерзал не на шутку, и даже стало было прибегать к пробежкам, но ноги быстро уставали и отказывались слушаться.

3

В Риме было шумно, более чем желалось. Русских, англичан, французов – хоть метлой мети. От того становилось совсем скучно. Рим походил на дом, в котором человек провёл лучшую часть своей жизни, уехал на какое-то время, а вернувшись, нашёл, что дом этот продан, из окон выглядывали какие-то глупые лица новых хозяев. Словом, грустно и скучно...

Да ещё эта гадкая дождливая погода, сменившая тёплые, потопленные в солнце дни. Николай Васильевич прохаживался по шумным улицам города, заглянул в Колизей, на Форум *Romanum* и так странно глядел на всё это, как будто видел впервые, как ещё не глядел никогда. Возвращался домой в сумерках, когда и в воздухе, и на душе становилось совсем смутно. Комната его тоже вызвала в нём какое-то внутреннее беспокойство. Казалось, что из неё кто-то сию минуту выехал или выезжает, что наполовину уложенный чемодан стоит посередине; по всем углам клочки обёрточной бумаги, верёвочки, старое бельё...

Настроение его часто менялось в это время – от тоски до печальной радости. Февраль заканчивался, и чувствовалось уже дыхание весны. В такие моменты Николай Васильевич, казалось, был совершенно счастлив, однако сам себе напоминал школьника, когда учитель отправился за город с его товарищами, а его за леность оставил одного в маленьком школьном саду. Он видел пропадающий вечер и сквозь него глазами воображения вдали луг, на нём свет солнца, кучу своих товарищей, летящий мяч, весёлые крики. Всё это видел он и не мог оторваться от своего придуманного зрелища, натирая кулаком или рукавом своё упрямо-кислое лицо и не спуская глаз за опускающимся за горизонт солнцем.

В другой день он брал с собою портфель с красками, заворачивал в салфетку обед и уходил в город, пробуя рисовать. Краски ложились сами собою, так, что потом приходилось дивиться, как удалось подметить и составить такой необыкновенный колорит и оттенок. Дни значительно прибавлялись, и колорит необыкновенно теплел: всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, кажется, так и просили красок. В других местах весна только действовала на природу: оживали высеребренная солнцем трава, деревья, ручей, оживали развалины, плис на куртке бирбачена – уличного мальчишки; оживала высеребренная солнцем трава, и стена простого дома, оживали лохмотья нищего и ряса капуцина с висящим позади капуцио. Оживали также целые коричневые плантации нечистот, разведённые трудолюбивыми римлянами под почти всеми стенами и оградами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.